ІЗ ЗБІРКИ "РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОГО НАРОДНОГО БЫТА"

I

Не родись ты пригож, а родись счастлив, говорят, и правду говорять истинную! Меня в молодости красавицею величали, а счастье-то мое какое! Ох, много я изведала на своем веку! Муж у меня был буйный, грозный. А вот сестра из себя невглядная была, и слабая такая, хилая, худенькая, да талан ей бог послал: муж в ней души не чаял, и деточки росли. Бывало, как приедет мой хмельной да разбушуется, выгонит меня — хоть на дворе мороз трещи, хоть дождь лей: ему нипочем, не пожалеет, — я пойду к сестриному окошечку, постою, погляжу... Сидит она с мужем, говорят себе любовно, тихо у них да согласно. Слава богу, подумаю, хоть сестре талан вышел! Бывало, и не зайду к ним, не покажусь: что их собою печалить! Ведь догадаются, с какой радости поздним вечером брожу.

И вот сестра-то моя, живучи и в приволье, и в любви, все чахла да чахла. Настанет весна, свежая травка пробивается, ручьи журчат, солнышко блещет — людям дышится вольнее, а она сляжет: грудь болит, кашель ее душит. Да все еще подержалась бы она, может, на свете, если бы не помер муж. Ездил за дровами в ненастье; приехал — захворал да на пятый день богу душу отдал. Схоронила его сестра, и сама красного лета не дождалась.

Перед смертью она и говорит мне: "Сестра! Вот я умираю, — будь же ты в моем дому хозяйка, моим детям мать. И им будет лучше, и тебе веселее; ведь и ты сиротеешь одинокою".

А я тогда уж вдовой была.

Распродала я кой-какие пожитки свои да и перешла к сестриным детям. После нее двое осталось: сынок и дочка. Сын по десятому году

остался, дочка по четвертому. Добрые были деточки, спасибо им! Отроду мне виду косого не показали, слова грубого не слыхала от них, покоили меня, почитали. Взрастила я их, взлелеяла, и стали они мне что родные дети.

II

Брат и сестра, а не схожи были нравом, уж как не схожи! Федя был мальчик веселый, смирный, покорный, а Маша уж такая своеобычливая, такая быстрая, пытливая! Бывало, скажешь Феде: Федя, голубчик! Не делай того или другого, не ходи куды, не говори чего, — он покорится охотно, — не надо, так и не надо! И другим себе займется. А Маша допытываться станет: да отчего, да почему? И свои доводы у ней найдутся, да еще, случается, и меня-то, старуху, с толку собьет, что я виновата выйду, а она права. И ко всему-то Маша прислушивается, все замечает, все проведает: что ты ни спроси — все слышала, все знает да еще обсуждает своим умишком детским. Что это за душа у ней была зарная, живая, неукротимая! Что, бывало, задумала — уж сделает; захотела чему научиться — научится. Ну, вот хоть примерно сказать; пожелалось ей кружево плести. "Где тебе, Маша, — говорю ей, — ручонки-то у тебя какие?" А ей всего седьмой годок тогда пошел. Она все просит: покажите, научите! Я показала ей. Сидела моя девочка, почитай, что с неделю, путала-путала, просто не ела, не пила, пока не выучилась. Подходит, мне показывает, а глазенки-то так и сяют, так и бегают. Я беру усмехаючись, глянула — диву далася: ведь выплела кружево ровно, славно. И вот так-то во всем, бывало, своего добьется. А с виду тихая и не речистая.

Вот пошел Маше десятый годок. Случись мне с Федей в город поехать, того-другого припасти надо было; еду да и наказываю Маше: "Смотри, Маша, никуда не отлучись из дому; жди нас, гостинца привезем". Она обещалась. А слово у нее, даром что детское, верное, — я спокойно себе отъехала.

Пока мы огляделись, пока закупили, воротились домой поздним вечером; в избу вошли — Маша не встречает. Окликаем ее — тихо, нету. Подождали — все нету. Пошел Федя к соседям, спросил. А соседи рассказывают: "Маша ваша все сидела подле своей избы на завалинке, с нашими ребятишками играла; а тут барыня проходила деревней, остановилась, посмотрела и спрашивает у вашей Маши: "Что это ты так расшумелась? (А они тогда в коршуны играли). Свою барыню знаешь? Чья ты?" Маша оробела, что ли, не ответила, а барыня-то ее выбранила: "Дура растешь, не умеешь говорить!" Маша так и сгорела вся, и заплакала, а барыне жалко, верно, стало: "Поди сюда, дурочка, поди ко мне! — говорит. — Что смотришь исподлобья, поди поклонись барыне!" Да видит, что Маша не идет: "Подведите ее ко мне!"—приказывает ребятишкам. Маша как бросится бежать, и не догнали. После мы ее и не видали, не выходила на улицу. А барыня старосте говорила: "Что ты таких девчонок не посылаешь хоть в саду дорожки чистить? Ты посылай!"

Пришел Федя, рассказал мне; дрогнуло у меня сердце. "Где же это Маша делась?" — думаю. А Федя сам не свой: крепко он сестренку любил. Ждали мы, ждали, думалидумали да и пошли ее искать, всю деревню обошли, окликаем ее потихоньку — нет как нет! Идем уж домой огородами соседскими, конопляниками. Вдруг как бросится к нам Маша...

Схватили мы ее на руки, поцеловали крепко: слава богу, жива, нашлась!

III

— Пойдем домой, Маша! — говорю, не поминаю ей, что она напроказила, вижу — девочка перепугана.

— Дай я тебя на руках донесу, Маша! — говорит Федя, радостный такой.

Маша все обнимала нас, а тут стала вырываться.

— Пойдем домой. Маша!

Упирается: "Не пойду".

Мы ее уговаривать. "Не пойду, не пойду... меня барыня возьмет!.." Да давай прижиматься ко мне, проситься: "Не отдавайте меня ей! Спрячьте меня!"

— Не бойся, родненькая, не бойся! Это тебя пострашали только.

Кое-как уговорила ее, привела домой, успокоила да тогда уж и говорю ей:

— Маша, чего ты барыне-то не ответила? Нехорошо, дитятко!

Так она и вспыхнула вся.

— Не маленькая ты, Маша, — все увещаю, — знаешь, чай, что барыне покориться надо; хоть она и сурово прикажет — слушаться надо.

— А если не послушаешься? — промолвила Маша.

— Тогда горя не оберешься, голубчик, — говорю. — Любо разве кару-то принимать?

А Федя даже смутился, смотрит на сестру во все глаза.

— Убежать можно, — говорит Маша, — убежать далеко... Вот тростянские летось бежали.

— Ну, и поймали их, Маша... а которые на дороге померли!

— А пойманных-то в острог посадили, распинали всячески, — говорит Федя.

— Натерпелись они и стыда и горя, дитятко!

Я говорю, а Маша все свое:

— Да чего за барыню все так стоят?

— Она барыня, — толкуем ей, — ей права даны; у ней казна есть... так уж ведется...

— Вот что! — сказала девочка. — А за нас-то кто ж стоит?

Мы с Федей переглянулись: что это на нее нашло?

— Неразумная ты головка, дитятко! — говорю.

— Да кто ж за нас? — твердит.

— Сами мы за себя, да бог за нас! — отвечаю ей.

IV

С той поры только и речи у Маши, что про барыню. "И кто ей отдал нас? И как? И зачем? И когда? Барыня одна, — говорит, — а нас-то сколько? Пошли б себе от нее куда захотели, что она сделает?" Откуда у ней такие мысли брались, что в пору только старому человеку подумать! Отгонишь ее: "Полно тебе. Маша, молоть!" Она себе сядет, задумается, да иной раз, подпершись ручкой, так долгодолго сидит, думает...

Вдруг одним утром к нам староста на двор. Маша завидела его, побелела и отбежала в уголок. Вошел и кличет Машу на работу. "Иди, — говорит, — на барщину, красная девушка!" Шуткою хотел развеселить нас, что ли, — добрый был человек покойник, — да видит, что мы головы повесили, — и сам вздохнул.

— На меня не пеняйте, — молвил, — я сам человек подневольный!

— Иди, Маша, — говорю.

А на Маше лица нет. Крепко уцепилась за лавку ручонками.

— Не пойду, — шепчет, — не пойду!

Мы ее уговаривать, усовещивать: "Через тебя и нам достанется!" — а у нее одно слово ответное: "Не пойду!"

Что с ней сделаешь? И жалко ее укорять-то: девочка совсем потерялась. Мы отговорились: больна Маша.

Ведь доля-то наша такая, что порою поневоле слукавишь! — Горькая доля, скажу вам!

Надеялась я, что лаской ее ублажу, и все тихонько уговаривала. Не слушается девочка!

Прошел год, другой, третий. Уж сколько мы хлопот, сколько горя набрались с этой Машей! Полоть ли огороды барские кличут, по ягоды ли господам посылают. "Не могу, — говорит Маша, — я больна!" А барыня ее помнила и все, бывало, спрашивает: "Отчего нет на работе Ивановой Машки? Больна? Чем это больна? Приведите, я посмотрю ее сама". И водили к ней Машу сколько раз. "Чем больна?" — "Все болит!" Барыня побранит, погрозит и прогонит ее. "Чтоб была завтра на работе! — прикажет. — Слышишь?" — "Слышу", — ответит Маша, а не пойдет и

завтра. Стала барыня очень гневаться, и за нас с Федею принималась, что мы Маше потакаем.

А мы сами тому не рады, сами ее увещеваем — иди! Один раз грех, точно, был, что мы слукавили, сказали, что больна, — кто ж ее знал, что за это уцепится... Стоило только Маше поклониться, попроситься — барыня ее отпустила бы сама, да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глаз-то на барыню не поднимет, и голос-то глухо звучит у ней; а ведь известен нрав барский: ты обмани — да поклонись низко, ты злой человек — да почтителен будь, просися, молися: ваша, мол, власть казнить и миловать — простите! — и все тебе простится; а чуть возмутился сердцем, слово горькое сорвалось — будь ты и правдив, и честен — милости над тобою не будет: ты грубиян! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а ведь как она Машу донимала! "Погодите, — бывало, на нас грозит, — я вас всех проучу!" Хоть она и не карала еще, да с такими посулками время невесело шло.

V

— Вот, Маша, — говорит Федя, — какая у тебя совесть-то! Нипочем тебе в глаза неправду говорить. Чем ты больна? Только бога гневишь! Я ведь вижу, как ты по вечерам танки-то водишь. До барыни, думаешь, не дойдет? Нехорошо, что ты нас под барский гнев подводишь!

Махнул Федя рукой да и замолчал. Маша вспыхнула, вздрогнула, а сказать ничего не сказала. Только с той поры она не идет на улицу. Ну, думаю, недолго она посидит — соскучится! Проходит неделя, проходит месяц — она все дома, — только, припавши к окошечку, смотрит, как другие гуляют. А у нас, в погожий вечер, на улице сберутся и девушки, и ребятишки сбегутся, — тут пойдут игры разные, беготня, песни, Иной раз подумаешь — тонко звенящими колокольчиками полна целая улица. Так и разливается веселый смех молодой, то писк слышен, то плач ребячий. Вышла молодуха унять озорников и все покрыла своим голосом, звонким, строгим. А Маша тоскливо прислушивается, отклик всякий, всякое слово ловит, а сама не замечает, как у нее слеза сбежит

горючая. Жду-пожду, что вот она попросится, — нет, видно, не дождешься! Совестится, думаю, девочка, дай уж я выручу ее.

—Маша, — говорю, — чего не пойдешь, не погуляешь, дитятко? Поди-ка, развейся немножко.

Сама гляжу на нее: вот обрадуется! А она мне этак спокойно отвечает:

— Нет, — говорит, — я не пойду.

— Да что ты. Маша? Морочишь меня, что ли?

— Не пойду, — опять проговорила, а сама и бровью не шевельнет.

— На меня, что ли, сердишься? — спрашивает Федя. — Ты лучше позабудь, — просит ее, — барыня крепко меня донимала за тебя, так я упрекнул... Самому, видишь, горько стало. Не сердись. Маша, поди на улицу!

— Я, — отвечает, — Федя, не сердита, только ты не упрашивай меня понапрасну — не пойду.

И не раз мы ее уговаривали, просили, — как просили-то!

— Не пойду!

VI

Не на шутку я стала тревожиться. Сидит она целый день задумавшись, и слова от нее не добьешься; худеть стала.

— Полечить ее надо, Федя, — говорю, — надо дерновской лекарке поклониться.

А на Дерновке лекарка была умная, знающая. Как услыхала об этом Маша:

—Тетушка, — говорит, — милая, не лечите вы меня — не вылечите!

Что ее слушать, думаю, и таки послала Федю на Дерновку.

Привез лекарку; осмотрела она Машу.

— Недуг ее, видно, от тоски больше, — говорит. (Поглядела на всех на нас.) — Кажись, обижать ее у вас некому; на зазнобушку сердечную еще пора не пришла, — не с глазу ли? Расскажите-ка мне, что вы сами думаете?

— Не знаем, голубушка, — говорю.

Побоялась признаться, что барский глаз сглазил...

— Эх, родные, уж вы не потаите, правду мне скажите, — я вас не выдам.

Так она добродушно это сказала, что я ей и призналась: так вот и так, на барыню я думаю.

— Бывает, родная, бывает, — промолвила старушка.

— С той поры неможешь, касатка? — у Маши спрашивает.

А Маша не то усмехнулась, не то помрачилась:

— С той поры! — ответила.

Покачала головой лекарка, и еще пристальнее поглядела на Машу, и опять головой покачала. Умыла ее и травку какую-то дала. "Ты травку пей-таки, до восхода солнечного".

Провожаю я старушку да и спрашиваю:

— Что, голубушка, чем утешишь меня?

— Да как бог даст! — говорит. — От девочки не добьешься ничего, словно она сама свой недуг-то голубит!

VII

Пристала я к Маше: пей да пей травку!

Скрепя сердце, пила она; ну, а помощи не было: изводится просто девочка — целую зиму мы с нею горевали. С весною, с теплом словно полегчало; цветней стала, в рост пошла. Дивно только мне, что все она будто сонная целый день ходит. Молчу пока, да замечаю. Там уж так пошло, что где она ни присядет, там сейчас и заснет. Беспокоилась я этим, да вижу, девочка все краше да краше, — может, думаю, это недуг выходит, и все молчу себе.

Вот одною ночью — звездно, тепло было — немоглось мне, и я не спала. И вижу, вскочила моя Маша, постояла, прислушалась — все тихо, — и выскользнула в дверь. Сердце у меня забилось... Жду, жду — долго ее нету... Не утерпела я, вышла. На дворе пусто, — где она? Да гляжу на огород, а по огороду что-то белое так и носится, так и вьется... Перепугалась я до смерти.

— Маша! Маша! — закричала.

Она как ахнет, и словно обмерла. Я к ней.

— Что ты тут делаешь?

Схватила ее за руку, привела в избу, Федю разбудила, лучину засветила, смотрю на нее, а она белая-белая стоит. Стали мы допрашивать, укорять; у ней слезы градом.

— Не воспрещайте, родные! Я ведь словно в неволе сижу! Тяжело мне! Часто не спится по ночам; я как выйду, погуляю — полегчает. Никто того не знает, не ведает — беды вам никакой не будет, а мне-то хоть ночью на свет божий поглядеть, хоть дохнуть вольно!..

Речь ее такая живая, торопливая, слезы сыплются.

— Бог с тобою. Маша! — говорю. — Жить бы тебе, как люди живут. Отбыла барщину да и не боишься ничего. А то вот по ночам бродишь, а днем показаться за ворота не смеешь.

— Не могу, — шепчет, — не могу! Вы хоть убейте меня — не хочу!

А Федя только приговаривает: "Быть беде!" Убеждать, уговаривать, — а она нас не словами, горючими слезами молит.

VIII

Ну, мы и не стали перечить: видим, ее не переупрямишь:

страшно еще, чтоб чего над собою не сотворила — от нее все станется! И каждую ночь, бывало, гуляет она. Я нарочно подкрадусь, смотрю — то сядет она посидит, то встанет, походит и дохнет так вольно, глубоко. Уж пускай мне господь простит за то, что я ее покрывала! Ведь как жалка она моему сердцу-то была!

Стали мы свыкаться с ее чудесами, со своим горем. Думали, надеялись, что в лета войдет — образумится. Года-то шли, уходили, а утешения нам не было.

На шестнадцатом году как расцвела Маша! Высокая, статная, белая, как кипень, уста алые, глаза ясные, брови дугой — красавица. И хороша, и молода, а как, бывало, мне на нее глядеть-то горько! Что за жизнь ее? Ни утехи, ни радости!

— Ох, Маша моя родная! — говорю ей. — Если б тебя господь от тоски твоей помиловал! Зажилось-то бы как весело! Замуж бы ты пошла...

— Что ж замужем-то! Одинаково! — отвечает.

— Не прогневи ты бога, Маша! Что это ты на себя накликаешь? Ты молись да надейся, бог счастье-талан пошлет.

— Какое счастье! — сказала да горько так усмехнулась.

— Ах, Маша! — говорю. — Да я вот целый век горевала, а все людскому счастью верю, а ты еще недавно из пеленок вышла: тебе ли решать, моя желанная! Есть счастье!

— Есть, — перебила, — да не про нашу честь! И опять усмехается.

— В божьей воле, дитятко! Вот твоя мать покойница нешто не была счастлива?

— То она, — говорит, — а то я...

Слушая такие речи, и Федя стал задумываться, пригорюнился.

IX

В ту пору барыня как-то запомнила про Машу — или уж ей самой надоело ее мучить, — нам жилось поспокойнее. Изредка зайдет кто из соседей или с деревни девушка к Маше забежит проведать ее, и дивуются все, что болеет Маша, а цветет, как маков цвет.

И стали ходить по селу слухи разные: одни говорят, что притворяется Маша, работать господам ленива, а другие — что тут замешалась недобрая сила. Ох, не раз и мне самой приходило это в голову: только молюсь, бывало, заступнице — заступи!

Плачу я, бывало:

— Вот, Маша, что люди про тебя говорят! Она молчит, словно не к ней речь.

— Что ж, дитятко? Тебе, кажись, все нипочем?

— Тетушка! — промолвила. — Есть у меня, может, кручина потяжелей!

А какая, не сказала.

А по деревне ропот: "Мы весь век свой на барщине; уж наши косточки болят, у нас дети калечатся, — некому приглядеть — и старый и малый на работе, а вот Марья дома нежится — что ж мудреного, что краше ее на деревне нету! Белоручки-то всегда пригожи!" (А Маша хоть тосковала, а свежая и пышная такая была.) И кричат: "Что это за болезнь такая, что не сушит, а красит?"

И до барыни этот ропот дошел.

Есть ведь такие люди на свете, что как только им жутко приходится, они и другого под беду норовят: словно им от чужого горя легче станет.

Барыня опять вскинулась на Машу, послала за нею: "Явись сейчас!" — "Не могу, — говорит Маша, — я больна!" Велела Машу силою вести. Повели ее. Барыня ее встречает, — бранит, корит, сама ей серп в руки дает да глазами на нее сверкает: "Выжни мне траву в цветнике! — и стала над нею. — Жни!" Маша как взмахнула серпом, прямо себе по руке угодила; кровь брызнула, барыня вскрикнула, испугалась: "Ведите ее, ведите домой скорей! Нате платочек — руку перевяжите!".

Привели Машу — господи, сумрачная какая! Сорвала с руки барский платочек и далеко от себя отбросила.

— Маша! — говорит ей Федя. — Не след тебе барыню так гневить... Если б это трущовская, ведь давно со света сжила бы!

Маша ничего на братнины слова, только у ней ярче глаза блестят.

— Сердита на тебя, — уговаривает все Федя, — а платочек свой дала, примочку сейчас прислала — пожалела тебя...

— Да, — промолвила Маша, — пожалела! Они, Федя, господа-то твои добрые, что и говорить, — они в головку целуют да мозжок достают!

Вздрогнули мы, услыхавши слова такие.

X

Вижу я, Федя себе затосковал крепко: где ласковость прежняя, добродушие веселое! Ходит угрюмый: все ему не по нраву, все не по нем; от работы отбился.

— Что, Федя? Что, голубчик? — спрашиваю.

— Да что, тетушка, тоска меня одолевает; просто свет белый не мил!

— Чего тоскуешь-то, Федя? Тебе ли тосковать? Ты ли не молод, не пригож?

— Правду, тетушка, Маша говорит: горемычное наше жигье!

— Что ж, Федя, слезами моря не наполнить!

— Да и слез-то не уймешь, — ответил.

Думала я, думала, чем бы горю помочь, да и надумала.

— Федя, — говорю, — пора тебе жениться, давно пора, дружочек. Коли тебе свои девушки не по сердцу, поехал бы ты на Дерновку, поглядел — там невесты славные!

— Дерновские все вольные, — отозвалась Маша.

— Что ж, что вольные? — говорю, — Разве вольные не выходят за барских? Лишь бы только им жених наш приглянулся.

— Если б я вольная была, — заговорила Маша, а сама так и задрожала, — я б, — говорит, — лучше на плаху головою!..

— Уж очень ты барских-то обижаешь, Маша! — проговорил Федя и в лице изменился. — Они тоже ведь люди божий, только что бессчастные!

Да и вышел с тем словом.

— Маша, — говорю, — дитятко, что ты ему все в уши жужжишь, — запечалила ты его...

— Есть у Феди свои глаза, свои уши, тетушка; сам он свою беду узнает. А ты-то, тетушка, будто не плачешься на свою судьбу? Сладко тебе живется, что ли?

— Эх, дитятко! Поплакала, погоревала я на своем веку — будет с меня! Я уж ни за чем не гонюсь, стара уж я, немощна — мне б только уголок теплый да хлеба кусок, — и довольна я! Не сокрушайся, — говорю, — моя желанная, что пособишь-то? Разве что веку своего не доживешь!

— Да хоть и умру, — промолвила. — Что тут-то мне, на свете-то?

Тоскливо так поглядела и руки заломила.

Поди, сговори с нею! Ты ее развеселить хочешь, а она тебя скорей запечалит.

XI

А Федя все сумрачней да угрюмей, а Маша точно и взаправду начала прихварывать, — на глазах у меня тает; слегла. Один раз я сижу подле нее — она задумалась крепко, — вдруг входит Федя бодро так, весело: "Здравствуйте!" — говорит. Я-то обрадовалась: "Здравствуй, здравствуй, голубчик!" Маша только взглянула — чего, мол, веселье такое?

— Маша! — говорит Федя. — Ты умирать собиралась, молода еще, видно, ты умирать-то!

Сам посмеивается. Маша молчит.

— Да ты очнись, сестрица, да прислушайся! Я тебе весточку принес.

— Бог с тобой и с весточкой! — ответила. — Ты себе веселись, Федя, а мне покой дай.

— Какая весточка, Федя, скажи мне? — спрашиваю.

— Услышишь, тетушка милая! — и обнял меня крепкокрепко и поцеловал. — Очнись, Маша! — за руку Машу схватил и приподнял ее. — Барыня объявила нам: кто хочет откупаться на волю — откупайся, очень дешево отпущу... Молодой барин, слышно, в карты проигрался, так деньги ей до зарезу надобны. Дядя Матвей порешил, что не то пожитки, руку свою правую продам, да откуплюсь. Порешил: на завод наймусь, — не то что службу там всякую отбывать, — камни буду на себе возить... И все согласны, что ему откупиться следует: семья у него — всего жена да мальчишка, как-нибудь биться можно...

Рассказывает Федя, а мы слушаем... Я хочу что-то сказать, да слова не приберу... Вдруг Маша как вскрикнет, как бросится брату в ноги! Целует и слезами обливает, дрожит вся, голос у ней обрывается...

— Откупи меня, родной, откупи! Милый мой, откупи меня! Господи! Помоги же нам, помоги!

Федя уж и сам рекою разливается, а у меня сердце покатилось — стою, смотрю на них.

— Погоди ж, Маша, — проговорил Федя, — дай опомниться-то! Обсудить, обдумать надо хорошенько!

— Не надо, Федя! Откупайся скорей... скорей, братец милый!

— Помехи еще есть. Маша, — я вступилася, — придется продать, почитай, последнее. Как, чем кормиться-то будем?

— Я буду работать, братец! Безустанно буду работать! Я выпрошу, выплачу у людей! Я закабалюсь куда хочешь, только выкупи ты меня! Родной мой, выкупи! Я ведь изныла вся! Я дня веселого, сна спокойного не знала! Пожалей ты моей юности! Я ведь не живу — я томлюсь! Ох, выкупи тдедя, выкупи! Иди, иди к ней...

Одевает его, торопит, сама молит-рыдает! Я и не опомнилась, как она его выпроводила. Сама по избе ходит, руки ломает. И мое сердце трепещет, словно в молодости, — вот что затевается! Трудно мне было сообразиться, еще труднее успокоиться...

Ждем мы Федю, ждем, не дождемся! Как завидела его Маша, — заплакала, зарыдала, а он нам еще издали кричит: "Слава богу!" Маша так и упала на лавку... Долго, долго еще плакала... Мы унимать.

— Пускай поплачу, — говорит, — не тревожьтесь: сладко мне и любо, словно я на свет божий нарождаюсь! Теперь мне работу давайте! Я здорова... Я сильная какая, если б вы знали!

XII

Вот и откупились мы. Избу, все спродали. Жалко мне было покидать, и Феде сгрустнулось: садил, растил — все прощай! Только Маша веселая и бодрая — слезки она не выронила. Какое! Словно она из живой воды вышла — в глазах блеск, на лице румянец; кажется, что каждая жилка радостью дрожит... Дело так и кипит у нее... "Отдохни, Маша!" — "Отдыхать? Я работать хочу!" — и засмеется весело. Тогда я впервые узнала, что за смех у нее звонкий! То Маша белоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодельницей, первой работницей величают. И женихи к нам толпой...

А барыня-то гневалась — боже мой! Соседи смеются: "Холопка глупая вас отуманила! Она нарочно больною притворилась. Ведь вы,

небось, даром почти ее отпустили?" Барыня и вправду Машей не дорожилась.

Поселились мы в избушке ветхой, в городе, да трудиться стали. Бог нам помог, мы и новую избу срубили. Федя женился. Маша замуж пошла. Свекровь в ней души не слышит: "Она меня, словно дочь родная, утешает — что это за веселая! Что за работящая!" Больна с той поры не бывала.

Федю тоже бог благословил: живет с женою согласно, и я при них живу, детушек нянчу. Два сынишка у него, такие живчики...